

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:
ОПЫТ ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ
АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ**

*Материалы XV Международной Западно-Сибирской
археолого-этнографической конференции
Томск, 19 – 21 мая 2010 г.*

лёвские древности избежали прямого влияния «крестовиков». Однако «крест» стал неотъемлемой частью красно-озерской посуды хutorборского этапа и впоследствии основательно вошёл в инберенскую традицию, что, не взирая на его постепенное «изживание», выразилось в морфологических и в орнаментальных характеристиках посуды.

Отчасти развитие ситуации может быть объяснено, исходя из позиций местных позднебронзовых культур в южнотаёжной и в лесостепной зонах Прииртышья. В отличие от лесостепной и предтаёжной зоны, где немалую роль играло ирменское влияние, в лесу в конце бронзового века наблюдается безраздельное господство собственно сузгунской традиции, которая была здесь сильнее, чем в лесостепи. Об этом свидетельствует не только множество сузгунских реминисценций на посуде журавлёвского типа, но и относительно слабое взаимодействие сузгунской традиции с пришлыми «крестовиками». Взаимодействие фиксируется лишь на уровне хutorборской керамики группы Б, но и здесь оно направлено именно на поглощение «крестового» суперстрата (Труфанов, 1983), тогда как конечный продукт такого взаимодействия воплотился южнее, в красноозёрской посуде инберенского этапа. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло лесное сузгунское население, под давлением которого носители «крестовой» и хutorборской традиции были вынуждены переселиться в более южные районы, где в значительной степени модифицировались при участии не только сузгунской, но и ирменской культуры.

В итоге отчётливо фиксируют два культурных образования, морфологически и территориально различных, но имеющих общие автохтонные позднебронзовые истоки и реминисценции. Журавлёвскую традицию можно отнести к «переходной», с инберенской дело обстоит сложнее. По сути, ее керамический материал имеет вполне позднебронзовый облик, не определяющий дальнейших тенденций в керамических традициях лесостепного Прииртышья (Труфанов, 2003), в отличие от южнотаёжной зоны, где на смену журавлёвским приходят богочановские древности¹, маркируя собой начало раннежелезной эпохи. В этом плане обе традиции, несмотря на общие генетические и – отчасти – хронологические характеристики, разнятся, что обусловлено рядом культурологических причин, истоки которых берут начало в позднебронзовой эпохе.

Л.И. ШЕРСТОВА

Россия. Томск

Томский государственный университет

ЕВРАЗИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОЦИОГЕНЕЗЕ СИБИРИ XVII в.

Размышляя об особенностях этнокультурных контактов ранних русских переселенцев и аборигенного населения Сибири, об отсутствии ксенофобии со стороны первых по отношению ко вторым, а также отмечая интенсивность процессов аккультурации и ассимиляции, Н.М. Ядринцев считал, что такие отношения были обусловлены тем, что «как завоеватели, так и завоёванные в ту эпоху стояли на достаточно близком уровне культуры и развития» (1891, с. 169). Именно эта «близость» и сделала возможным «взятие» Ермаком Сибирского ханства и стремительное продвижение русских первопродолцев к Тихому океану.

Процесс проникновения русских в Сибирь начался примерно в то же время, что и освоение Нового Света. Это «историческое совпадение» подметил еще Г.В. Вернадский, сделавший при этом важный вывод: «Однако русское распространение в Сибири было более быстрым, чем американское движение к Тихому океану» (1997, с. 129–130).

Основывая крепости (города и остроги) в центрах ясачных волостей, русские сплошной волной покрывали Сибирь своей системой административно-фискальных отношений, втягивая в неё периферийное население, часто обитавшее за многие сотни вёрст от русских селений. За редким исключением эта экспансия не встречала препятствий, следствием чего стало отсутствие в Сибири такого культурно-политического феномена, как «фронтир», во многом определившего специфику истории американской.

Попытки рассмотрения ранней истории русских в Сибири сквозь призму «фронтира» не объясняют, в частности, его чрезвычайной проницаемости даже там, где, скажем, карты С. Ремезова показывают «рубежи немирных земель». Как известно, один из таких рубежей разграничивал сферы влияния русских и енисейских киргизов. Но эти границы были сверхподвижны, что объясняется перманентными переселениями зависимого населения Обь-Енисейского междуречья то вглубь «Киргизской земли», то на земли, на которых русские уже вполне утвердились. Особенно отчётливо это проявлялось в начале русского продвижения на Верхний Енисей, когда ограбленные ими или обиженные «государевы ясачные» (они же одновременно киргизские «кыштымы») «бежали в киргизы», становясь объектом долгих и трудных переговоров.

В 1609 г. «изменили» Чулымские, Басагарские и Васюганские волости, т.е. «...сложились с киргизы заодно и кочуют с ними вместе». В 1634 г. «аринские татары со всеми улусными людьми отъехали в киргизы и так кочуют от киргиз себе улусом» (Материалы по истории..., 1995, с. 31, с. 85). При определённых условиях русские также разрешали аборигенам прикочевывать к своим острогам и городам. В 1679 г. «государевы ясачные люди Курчи-

¹ Давно и последовательно журавлёвские и богочановские древности рассматриваются исследователями в качестве этапов единой богочановской культуры (Данченко, 1996 и др.), однако, на мой взгляд, такое объединение не совсем очевидно. Не вдаваясь в подробную аргументацию, отмечу лишь явные морфологические и орнаментальные различия между посудой обоих этапов. Если понимать под журавлёвским ранний этап богочановской культуры (когда только происходило сложение раннежелезных традиций), смущает уже сложившаяся каноничность журавлёвской керамики, не свойственная в целом процессам формирования орнаментальных канонов, характеризующимся шаткими орнаментальными схемами. Создается впечатление, что богочановская линия развития обязана своим возникновением какому-то влиянию извне, в то время как журавлёвские древности демонстрируют исключительно автохтонную линию развития позднебронзовых культур Среднего Прииртышья, прерванную формированием богочановских традиций.

ковой волости, обитавшие на р. Кие, получили разрешение кочевать около Томского города... возле русских деревень вверх по Томи-реке и по Сосновке-реке», т.е. под прикрытием Сосновского острога. Однако на следующий год часть из них вновь откочевала к киргизам (Там же, с. 175–176).

Не мешала граница и постоянным контактам служилых людей с киргизами. В 1628 г. киргизский князь Ишей рассказывал московскому послу Д. Черкасову: «Которые де преж сего служилые люди у нас бывали и пищали нам свои продавали. А за те свои пищали имали у нас зверем, собольми и бобрами и иною всякою рухлядью большою дорогою ценою. А в Томской город, приехав, сказывали на нас воеводам, что мы у них пищали их отнимаем силой. Да за то... воевода на нас и войною посылает» (Там же, с. 76).

Как бы то ни было, чёткой границы между «немирными землями» и «освоенными» русскими территориями не было. Сама граница являлась условной, определяясь степенью статичности (подвижности) зависимого коренного населения, которое сплошь и рядом, в зависимости от обстоятельств и менявшихся условий, могло менять свою политическую ориентацию, равно как и местообитание. Если признать, что некая граница существовала, она не проходила по территории, а определялась политической зависимостью аборигенов от более сильных государств: в Южной Сибири в XVII – первой половине XVIII в. таковыми являлись Киргизские княжества, Джунгарское ханство, государство Алтын-ханов и Россия.

Ситуация, при которой податное население периодически меняло государство-сюзерен, не смущало ни одно из этих государств. Более того, чтобы она не вылилась в жёсткое противостояние, в Южной Сибири был широко распространён институт двоеданства, предполагавший одновременную политическую и данническую зависимость аборигенов от двух и более сильных соперников (Шерстова, 2005, с. 69–90), чаще всего, на договорной основе.

Таким образом, реальная власть русских в Сибири определялась не столько территориями, каковыми она «владела», сколько количеством подданных и способностью их защитить. Двоеданство было одним из элементов евразийской дипломатии, хорошо усвоенной всеми сторонами, помогавшей в случае примерного равновесия сил сохранять относительно стабильную социально-политическую ситуацию. Оно создавало иллюзию сильных соперников, но не могло слишком долго длиться. Этот статус автоматически ликвидировался в результате резкого ослабления или гибели одного из государств-сюзеренов. Когда енисейских киргизов увели джунгары, прежде разгромив Алтын-ханов, а само Джунгарское ханство было уничтожено в ходе джунгаро-китайской войны 1753–1759 гг., фактически все коренное население Сибири, а значит, и территории его обитания, сами собою стали частью Российской империи.

Именно поэтому главной целью русских с первых лет их появления в Сибири было привлечение на свою сторону местного населения. Отсюда постоянные наказания московских царей местным властям обходиться с ним «ласково», жестокие кары воеводам за злоупотребления по отношению к аборигенам и неустанные напоминания о необходимости поиска «новых земель и волостей». Именно количество тяглых подданных определяло и укрепляло позиции русских в Сибири. В наказах Бориса Годунова (1604) и Василия Шуйского (1608) сибирским воеводам дословно повторяется: «И они б сибирские земли всякие люди, и братью и дядю и племя и племянников и друзей отовсюду призывали и волости полнили (курсив мой – Л. Ш.)... и про далние и про новые земли и про волости потому же проведывати... кто ясаки с них емлет или живут особе и много ли в них ясачных людей, да те волости описати...» (Пугачёв, 1946, с. 140; Бояршинова, 1950, с. 63).

Представление о том, что не величина территории или богатства составляет силу правителя, имеют глубокие корни в евразийской истории. Сила кочевых империй Центральной Азии напрямую зависела от величины улуса, под которым понималась не столько территория, как таковая, сколько «владение», народ, данный в феодальное держание (Фёдоров-Давыдов, 1973, с. 118). В рамках улуса существовал своеобразный институт «унаган-богол». Б.Я. Владимирцов (1934, с. 81) отмечал, что в результате завоевательных походов монголов в зависимость от них попадали целые роды и группы родов. Роды, зависимые от правящего рода и составляли унаган-богол. С эскалацией войн появлялось все большее количество родов, племен, вообще общностей, попавших в социально-экономическую и политическую зависимость. Они сосредоточивались во владении некоторого числа удачливых родов (семей), увеличивая таким образом улусы последних. Однако в монгольское время «унаган-богол», будучи несвободным даже в выборе кочевков, внутренне оставался неоднородным, так как сюзерен практически не вмешивался в его внутреннюю структуру. Поэтому сохранялись привычные социальные отношения и своя «аристократия», не говоря уже о собственной социально-имущественной дифференциации.

Но такое «невмешательство» консервировало и культурно-этническую специфику покорённых народов. Последнее позволило, в частности, сибирскому населению сохранять свои этнонимы, связанные не только с монгольской, но и более ранней – гуннской – зависимостью (аба, ач, долангы, вэйхо – уйгур, кыпчак, дубо и т.д.), а также такие культурные достижения, как горное дело и металлургия, деревообработка, земледелие, ткачество и проч.

Словом, существовавшие кочевые империи Центральной Азии от гуннов до монголов выработали своеобразный тип административного устройства, в основе которого лежал принцип *самого наличия* зависимого населения, которое стремились постоянно увеличивать, подчеркивая таким образом значимость и силу правителя.

Другим важным моментом явилась политика невмешательства или минимального влияния на внутренние процессы в зависимых общностях. Это также элемент, характеризующий принципы политической евразийской традиции. Они были использованы и во взаимоотношениях русских и аборигенов. Более того, принцип невмешательства во внутренние дела ясачных был в России легитимизирован в «Уставе об управлении инородцев» М.М. Сперанского (1822).

В условиях подвижного, скотоводческого общества гораздо проще было установить контроль над населением, чем территорией. Включая в сферу своего влияния народы Сибири, монголы, а вполне возможно уже их предшественники, создавали здесь привычные для них фискально-административные единицы. Русские документы свидетельствуют, что, приходя за ясаком, сборщики ограничивались учётом числа ясачных, но не занимались

«организацией» податных единиц, т.е. «ясачных волостей» единого типа и численности. При этом число ясачных могло существенно колебаться. Так, в Томь-Енисейском междуречье в 1623 г. Байгульская волость насчитывала 5 человек, а Мелеская – 50 (Бояршинова, 1950, с. 82–83). В наказе Бориса Годунова говорится о восьми волостях «на томской вершине» (т.е. в верховьях Томи), которые следует объяснять (Пугачёв, 1946, с. 139).

В Южной Сибири и прилегающих к ней с севера территориях русские по существу уже застали исправно функционирующую административно-фискальную систему, сходную с практиковавшейся в Обь-Иртышском междуречье у хантов и манси и связанную с податной политикой Сибирского ханства (Бояршинова, 1950, с. 100). Стоило исчезнуть ясачному населению (вымереть от эпидемии, удачно скрыться и переселиться на новые места) – автоматически исчезала податная волость, как в документах, так и в реальности. Так, в Подгорной волости Верхотурского уезда в 1629 г. насчитывалось 16 ясачных душ; в 1681 – 9, а в материалах переписи уезда, проведённой во второй четверти XVIII в. название волости вообще отсутствует (Шунков, 1930, с. 266). Подобная ситуация характерна и для Южной Сибири. Редко упоминаемые, но зафиксированные в начале XVII в. Кымская (Кимская), Горная Чонская, Соксунская и другие волости впоследствии вовсе не упоминаются в окладных книгах, и идентифицировать их с какими-либо этническими группами или локализациями, хотя бы приблизительно, не удаётся.

Таким образом, ясачные волости, по сути, являлись объединениями людей, находящихся в политической зависимости от кого-либо государственного образования, но тесно не связанных с определенной территорией. Русские документы XVII в. фиксируют: «Ачинские волости ясачные люди неведомо куда побежали»; «А та Мелеская земля пришла к киргизам»; «... волости живут позади киргиз» и т.д. (Миллер, 1937, с. 264; Материалы по истории..., 1995, с. 31).

Заинтересованные в данниках власти внимательно следили за сохранностью и перемещением волостей. Поэтому куда бы ни «уходила» волость и сколько бы в ней ни насчитывалось ясачных (иногда их было 2–3 человека), её название, часто имевшее этнонимический характер, сохранялось в документах. Порой «уходила» в другое место часть волости, что приводило к появлению одноимённых волостей на разных землях. Так, в XIX в. существовало 3 Кумышские волости: в Кузнецком, Томском и Барнаульском округах. Для нас же важно то, что ясачная волость, в сущности, являясь осколком социально-экономической и политической структуры центрально-азиатской государственности, естественно влилась в формирующуюся политическую систему Московского царства, что оказывалось возможным при условии понимания сущности волости-улуса «русскими людьми», т.е. русской администрацией.

Последнее не вызывает сомнений, поскольку сама Московская государственность многое восприняла от Золотой Орды. Монгольская административная система, по Г.В. Вернадскому, была тесно связана с военным делом. Распространение системы на Русь привело к некоторому её обновлению. Каждый район, или поселение, способный выставить десять воинов в сочетании с другими такими же составлял сотню (отсюда русское название сельского должностного лица «сотский»), десять сотен – тысячу, десять тысяч образовывали «тьму» (от монгольского «тумен»). Соответственно донская Русь подразделялась на множество десятков, сотен, тысяч и «тем», т.е. сформировалось такое административное устройство, в основе которого лежали не размеры территории, а численность подданных, прежде всего трудоспособных и боеспособных мужчин – «ревизских душ» в Российской империи (Вернадский, 1997, с. 74).

Таким образом, оказавшись в Сибири, русские обнаружили здесь функционирующую административную систему, базирующуюся на тех же принципах, что и в московских землях. В обоих случаях она была создана под воздействием политических традиций кочевых империй Центральной Азии, но так как она уже закрепилась и на Руси, её можно назвать *евразийской*.

Именно сходством административного устройства и одинаковым пониманием функций волостей-улусов диктовались и социокультурные формы взаимодействия русских и коренных народов Сибири. Русские, оказавшись в Сибири, встретили здесь знакомые им административно-податные образования, появившиеся в этих местах задолго до того, как территории за Уралом попали в сферу влияния Москвы. Московские власти не изменили характера и порядка взаимоотношений со своими новыми подданными, они не требовали от них того, чего последние понять не могли. Фактически русские XVII в. и сибирские народы (за редким исключением – чукчи, коряки) говорили на одном политическом языке. Этим-то и объясняется столь быстрое продвижение русских по Сибири: их главная задача состояла в переориентации выплаты ясака от прежних сюзеренов на Москву, а для этого нужно было быть, или казаться сильнее и богаче этих последних.

Символом богатства державы, согласно все той же евразийской традиции, выступало количество подарков, которыми новые сюзерены наделяли новоподданных, а также пышность пира, устроенного для них. Налицо особый ритуал, призванный сакрализовать принятие подданства. С самого начала русского присутствия в Сибири доставка ясака в русский город (острог) или посольство в Москву обязательно сопровождалась раздачей даров: кафтанов, шуб, тканей, посуды и т.д. – всего, кроме оружия. Становится понятным, почему среди «насилий» томских воевод Ржевского и Бартенева ясачные жалобщики называли и то, что «кормили (они) иноземцев, которые приходят с ясаком по одинакова на день (т.е. однообразно – Л. Ш.), и от того де твоему царскому имени позорно и в ясачных людех смута» (Миллер, 1937, с. 418). Воеводы, видимо, экономили на царских угощениях, что обижало князьков. Впрочем, дело вовсе не в «одинаковом» кормлении, а в отсутствии настоящего «званного» пира, поскольку отказ от строгого соблюдения церемониала подвергал сомнению «юридическую достоверность» и законность ясачного сбора, а значит овеществлённых в нем вассальных отношений, рисуя Москву, как слабого и ненадёжного защитника, которому и дань-то платить стыдно. Подчеркну, что ясачные смотрели на казённое угощение как на своё право. В 1697 г. воевода Дурново не смог «угостить качинских татар», когда те принесли ясак, поскольку Красноярск был осаждён киргизами. Это послужило причиной не только недовольства, но и посылки челобитной в Москву с обвинениями против воеводы (Бахрушин, 1959, с. 56).

Следует отметить, что публичное принесение даров (дани) и получение подарков, иногда по ценности и объёму превышающих дань, у всех центрально-азиатских народов имело форму и смысл сложного ритуала (Жуковская, 1996, с. 165). Истоки этого явления следует искать в сложных взаимоотношениях древнего Китая с многочисленными варварами, предками тюркских и монгольских народов. Длительное время Китай действовал в соответствии с отработанной за века схемой поведения. «Нового «варвара», – отмечает В.А. Корсун, – через помпезный ритуал «принимали» в «систему вассалитета», добивались непреложного, пусть даже формального выполнения им воли повелителя Поднебесной, принесением «дани» и исполнением обряда «коутоу» (2005, с. 497–498). Затем следовали дары, которые больше напоминали способ откупиться от варваров, что отражалось в их несоизмеримо большей ценности.

Усвоенная система подчинения, подкреплённая строгим ритуалом и подарками, позже, через ордынцев, была перенесена и на взаимоотношения русских со своими ясачными, тем более что последние воспринимали «законность» своего подданства в форме архаичного дарообмена. Принеся шерть-клятву на верность Москве традиционным образом, пройдя ритуал принесения дани и отдаривания и приняв участие в богатом пире, новые подданные занимали место в социальной структуре Московского государства. Вопрос о собственном статусе решался с опорой на уже существовавшую в социальной структуре у обеих сторон евразийскую традицию господства-подчинения. Русским не нужно было объяснять аборигенам суть податного состояния.

Об укоренённости принципа деления населения на элиту и подданных свидетельствуют не только развитый героический эпос сибирских народов, но и низовой фольклор. В сказках часто встречается сюжет о том, каким образом герой (зверь, птица) сумел избежать уплаты подати: «Когда царь птиц Кан-Керездэ потребовал алман от птиц, Джарканат (Летучая мышь) сказал, что он не птица, потому что у него есть клыки. Когда стал собирать алман царь клыкастых животных Арслан-каан, джарканат сказал, что он – птица, т.к. имеет крылья. Все птицы платили алман Кан-Керездэ. Все клыкастые животные платили алман Арслан-каану. Джарканат отбил от того и другого и никому дани не даёт» (Потанин, 1883, с. 185). Аналогичный сюжет есть в шорском фольклоре: «Звери-птицы своим хозяевам выкуп дают... Весной звери линяют – хозяину горы и воды албан платят. Находящиеся на земле звери-птицы хозяину горы платят, живущие в воде звери-птицы – хозяину воды. Выдра – очень плохой зверь, она никому... албан не кладёт» (Дыренкова, 1940, с. 281).

Таким образом, традиционное мировоззрение аборигенов Сибири пронизано идеей о том, что все живое является чьими-то подданными и обязано платить подать. Человек, как часть этого мира, также должен иметь своих хозяев (сюзеренов). Отказавшись от уплаты дани, человек лишался возможности защиты. Поэтому даже в фольклоре животные, не платящие алман, не наделяются положительными характеристиками. Источники XVII в. свидетельствуют о том, что в основном сибирские аборигены без особых проблем (кроме енисейских киргизов, чукчей, коряков, отчасти нивхов) соглашались платить русским ясак даже тогда, когда те не всегда могли их защитить, в надежде, что это возможно в будущем. С усилением позиций России в Сибири так и произошло. Согласно евразийской ментальной установке, быть подданным сильного, безусловно, предпочтительнее, престижнее, чем зависеть от слабого (Шерстова, 2008, с. 225–226).

Русские понимали эту особенность поведения аборигенов. По этому поводу сибирские документы отмечали: «что де татарский извычай (тюркский обычай – *Л. Ш.*) непостоянный, которая сторона мочнее, туда они и шатаются» (Бахрушин, 1959, с. 39).

Однако улусное устройство государства порождало у сибирского коренного населения неоднозначное отношение к строящимся русским городам и острогам. Согласно существующему порядку, после основания новой русской крепости между последними происходило перераспределение ясачного населения. Но сибирские жители воспринимали русских воевод как самостоятельных владельцев улусов, т.е. не относились к русским властным структурам как к единой политической системе. Так, в 1630 г. возник конфликт между Томском и Красноярском, т.к. киргизы отказывались платить ясак в более близкий к ним новый город. По этому поводу С.В. Бахрушин замечает, что «давая аманатов в Томск, киргизы не считали себя связанными обязательствами по отношению к Красноярску. Подобно тому, как в степных государствах возможны были войны между отдельными тайшами, так они считали возможным воевать с отдельными воеводами» (Бахрушин, 1955, с. 202), что подтверждается довольно частыми осадами Красноярска в XVII в.

Следует заметить, что ранние русские поселенцы давали повод так думать. Нередки были столкновения между служилыми разной подчинённости из-за сбора ясака с тех или иных групп населения. На р. Кан чуть не случилась война между посланными за ясаком енисейскими и красноярскими служилыми людьми (Миллер, 2000, с. 439–440). Кроме того, участвуя в военных походах в составе сводных сил из разных сибирских городов, воинские люди продолжали руководствоваться интересами и своих городов, и своими выгодами. Так, в 1641 г. вглубь киргизских земель двинулась настоящая армия из 870 человек под предводительством Я. Тухачевского. Своих служилых людей прислали Тобольск, Тара, Тюмень, Томск, Кузнецк, Красноярск. Однако как только были отбиты киргизские обозы и взято в плен много женщин с детьми, в войске началось брожение, ратные люди забунтовали и покинули своего предводителя. Мотивы их поведения понятны: добыча была слишком велика, а пленных (ясырь) нужно было как можно быстрее крестить и продать (Бахрушин, 1955, с. 204–205).

Сравнивая отношение коренных жителей к русской власти в Сибири с восприятием её самими русскими, следует отметить, что существенной разницы не наблюдается. Как для аборигенов, так и для русских было характерно отношение к первым русским властным центрам как к самостоятельным единицам, аналогичным ордынским ставкам, а воеводы воспринимались как властители-тайши. Безусловно, такое восприятие «материализованной» русской власти в Сибири было также отражением общего евразийского наследия в политической культуре как русских, так и аборигенов.

Наличие аналогичных или весьма сходных традиций в политической культуре, в социальном устройстве, в отношении к власти и собственному социальному положению сближали пришлое и местное население, создавали условия для результативного политического диалога. Общее политическое евразийское наследие сказывалось на всех сферах культуры и менталитета взаимодействующих народов. Оно, несомненно, упрощало налаживание и бытовых контактов, способствовало взаимопониманию при решении хозяйственных и социальных проблем, существенно облегчая процессы аккультурации и ассимиляции. Но обстоятельства резко изменились в начале XVIII в., когда Россия стала все больше ощущать себя европейской державой, а основной концепцией формирующейся политической деятельности власти стали идеи эволюционизма, постепенно проникавшие на бытовой уровень (Шерстова, 2005, с. 116–127). Впрочем, евразийское наследие продолжало сохраняться в административном устройстве Сибири, а главное – в основных принципах инородческого управления.

Ю.В. ШИРИН

Россия, Новокузнецк

Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА ФОМИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

При постановке подобных проблем неизбежно возникают вопросы методологического характера. Правомерна ли сама формулировка (при неопределенности соотношения в ней исторического и логического)? Есть ли историческое содержание у понятия «археологическая культура»? Я полагаю излишним обсуждать эти вопросы сейчас, так как предлагаю к рассмотрению лишь одну из гипотез исторической интерпретации наблюдаемых культурных явлений, в связи с изучением определённого типа древностей. Основная цель – обратить внимание на скрытые, но, несомненно, значимые историко-культурные параллели. Следует добавить, что неудовлетворительность предлагаемой исторической интерпретации (как и существующих) вполне предсказуема. Строго говоря, такая интерпретация допустима лишь при условии полной характеристики археологической культуры как системы (Лебедев Г.С., 1975). Для фоминской культуры даже не все типы археологических комплексов получили такую характеристику. Для постановки проблемы на начальной стадии изучения упрощение неизбежно, о чём не будем забывать.

Фоминская культура, памятники которой некоторыми исследователями интерпретируются как этап верхнеобского варианта кулайской культуры (Троицкая, 1979, с. 49–50), удалена от мест создания письменных исторических источников. Однако объективная возможность выявления в комплексах фоминской культуры исторических событий заложена в понимании культуры как открытой системы, а также в наличии импорта и других инкультурных заимствований в фоминских комплексах. Степень отраженности тех или иных событий в материалах фоминской культуры, конечно, будет гипотетична. Но неоспоримая значимость таких сопоставлений для археологии Южной Сибири уже демонстрировалась (Савинов, 1991).

Когда фоминские памятники рассматриваются как хронологический этап локального варианта кулайской культуры, для них также предлагаются реконструкции исторического контекста. Контекст состоит в том, что экспансия хунну в конце I тыс. до н.э. прямо или косвенно привела к запустению верхнеобских степей, что выразилось в исчезновении каменной культуры. В результате активизировалась миграция таёжного населения в лесостепное Приобье. По мнению некоторых археологов, проникновение носителей кулайской культуры на юг началось в III в. до н.э. или раньше. Увеличение численности носителей кулайской культуры и их прямое взаимодействие вначале с каменной, а затем с таштыкской (шестаковской) культурами приводит к сложению комплексов фоминского этапа (Шамшин, Сингаевский, 2007, с. 62). Такая реконструкция исторического контекста для фоминских комплексов предполагает и соответствующую хронологию. Нижняя хронологическая граница сложения культуры, при всей ее условности, отодвигается к рубежу эр – периоду, после которого политическая активность хунну заметно ослабевает, а общие хронологические рамки фоминского этапа устанавливаются в пределах I–III вв. н.э. с вероятным распространением в первую половину IV в. н.э.

Критический обзор этой исторической концепции уже проводился (Ширин, 2004а; 2008). К этому следует добавить, что датировка археологических материалов на исторических основаниях весьма рискованна. История описывает политические события, а археология, выявляя перемены в материальной культуре, с событиями дела не имеет. Взаимосвязь этих двух сфер неопределённа. Для проверки предлагаемых исторических схем, прежде всего, необходимо установить, опираясь на археологические данные, когда складывается фоминская культура.

Погребальные комплексы фоминской культуры формируются не ранее рубежа II–III вв. (Ширин, 2003, с. 101–114). К наиболее ранним хроноиндикаторам относятся: сильно профилированная лучковая фибула II–III вв. (рис. 1/ 1), амулет в виде жука-скарабея I–III вв. (рис. 1/ 2), золотые серьги, имеющие аналогии в комплексах I–II вв. (рис. 1/ 3). Сочетание этих «ранних» типов с фасетированными предметами поясной гарнитуры (рис. 1/ 5–7), с поясными накладками, имитирующими изделия в полихромном стиле (рис. 1/ 4) и в стиле клуазонс (рис. 1/ 8), показывает, что ранее II в. они не могут быть датированы. Необходимо учитывать, что инвентарные комплексы маргинальных (по своим социально-экономическим потенциалам) территорий, таких как Кузнецкая котловина, предгорья и тайга Саяно-Алтая, зачастую обладают признаками, занижающими датировку памятников. Вероятно, местные этнотерриториальные группы с запаздыванием воспроизводят культурный стереотип этносов-лидеров, либо являются потребителями для сбытчиков устаревших типов инвентаря. Этот «импорт», как правило, аккумулируется в сакрально-престижных комплексах – в «кладах», погребениях местной «знати».